

Время, 1861. №4

**ЯВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

**ПРОПУЩЕННЫЯ НАШЕЙ
КРИТИКОЙ**

II

Псковитянка, драма Л. Мея

Положимъ, что еще можно было нашей критикѣ, занятой преимущественно такими важными задачами какъ казнь обломовщины и какъ доказательства ненародности Пушкина, не замѣтить небольшого поэтическаго разсказа: «Лѣсъ»; но какъ же было ни слова не сказать, ни худого, ни добраго, о такой серьёзной вещи какъ «Псковитянка» Л. Мея?.. Точно у насъ такое огромное богатство драматическихъ оригинальныхъ

произведений — да и вообще оригинальных произведений, что можно иногда молчать о них? Во первых и вообще—то молчать о какомъ бы то ни было честномъ и даровитомъ трудѣ — чрезвычайно неприлично критикѣ, а во вторыхъ, у насъ это хуже чѣмъ неприлично: вредно. Не говоря уже о томъ, насколько молчаніе критики оскорбительно для даровитаго писателя, который желаетъ всегда слышать справедливый приговоръ своему произведенію — молчаніе, положительно вредно, потомучто оставляя писателя при однихъ его самородныхъ достоинствахъ и недостаткахъ, оставляетъ и такъ называемую публику при одномъ ея собственномъ, неопредѣленномъ сочувствіи къ писателю.

Бываютъ случаи, что молчаніе критики является даже и матеріально вреднымъ. Случай такого рода произошолъ на нашихъ глазахъ съ «Псковитянкой» Л. Мея. У академіи нашей, которой, какъ всякой академіи, для оцѣнки писателя нужны извѣстныя, установившіяся данныя (и чѣмъ

больше они установились, чѣмъ больше стали обязательны и даже принудительны, тѣмъ лучше), не было никакихъ данныхъ для оцѣнки таланта Л. Мея вообще и его драмы въ особенности — и вотъ драма не удостоилась преміи. А между тѣмъ, она, по нѣкоторымъ параграфамъ устава, можетъ быть, прежде всѣхъ другихъ, подлежала оцѣнкѣ и разсмотрѣнію, — и стоила преміи нисколько не меньше драмы Писемскаго. Академію, повторимъ опять, какъ и всякую академію, винить много нечего. Она свое дѣло сдѣлала: увѣнчала, говоря академическимъ терминомъ, два произведенія, на которыя указывали ей положительныя, установленныя критическія данныя; хоть разумѣется нѣсколько странно, что она уравнила премією два произведенія, изъ которыхъ одно неизмѣримо выше другого, до того выше, что по строгой справедливости, одно только и должно было быть *увѣнчано*... Если же непременно нужно было увѣнчивать другое, то слѣдовало увѣнчать еще и третье. Почему же еще не четвертое, спросятъ

можетъ—быть нѣкоторые?.. А потому, что ни какое четвертое указать нельзя, потому что при всѣхъ своихъ недостаткахъ и драма Писемскаго и драма Мея имѣютъ такія яркія достоинства, по которымъ прямо относятся къ художеству, а не къ беллетристикѣ и сценическому репертуару.

Высоко ставя талантъ Л. А. Мея, и надѣясь скоро отдать подробный отчетъ о всей его дѣятельности, по поводу выходящаго теперь полнаго собранія его сочиненій, мы совершенно далеки отъ того, чтобы вообще признавать его драматургомъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ напримѣръ драматургъ — Островскій и восторгаться его драмами вообще и даже лучшею изъ нихъ: «Псковитянкою» въ особенности. А между—тѣмъ, нельзя же не видѣть того, что «Псковитянка», чрезвычайно—замѣчательное поэтическое произведение — и говоря это, не нужно прибавлять казенной фразы: «при бѣдности нашей драматургіи...» И драматургія наша вовсе не бѣдна, потому что у насъ есть Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Гоголь, Островскій — да и

«Псковитянка» вовсе не принадлежит къ разряду явленій, о которыхъ обыкновенно говорится, что на безрыбьѣ и ракѣ рыба. Нѣтъ! «Псковитянка», съ ея недостатками и достоинствами — сама по себѣ, безотносительно—замѣчательное произведение, а одна сторона ея такъ замѣчательна, что замѣчательнѣе—то въ этомъ родѣ у насъ и нѣтъ ничего: вѣдь эта сторона «Псковитянки» стоитъ на ряду, — шутка сказать! съ Пушкинскимъ Борисомъ. Эта сторона «Псковитянки» выдвигаясь какъ—то странно изо всей, весьма впрочемъ достойной уваженія, дѣятельности даровитаго автора, заставляетъ невольно предполагать, что силъ въ его талантѣ больше, чѣмъ мы видимъ во всемъ остальномъ его творествѣ, что стало быть этимъ силамъ кое—что мѣшаетъ вполнѣ высказаться. Вѣдь нельзя же допустить съ одной стороны того, что Мей, довольно давно уже дѣйствующій въ литературѣ, являющійся съ давнихъ поръ съ опредѣленными качествами таланта и опредѣленною мѣрою творчества, еще

развивается, *ist noch im Werden* — нельзя же съ другой стороны предположить и то, что «Псковское Вѣче» далось ему случайно... «Псковское Вѣче» давить собою всю «Псковитянку» и широтою своего замысла, глубокимъ постиженіемъ русскаго народнаго духа, художественнымъ спокойствіемъ, соединеннымъ съ истинно—драматическимъ содержаніемъ, давить въ нашей современной драматургіи все, кромѣ разумѣется драмъ Островскаго...

Собственно говоря, во всей «Псковитянкѣ» только «Псковское Вѣче», т. е. III актъ — стоитъ серьезной критической оцѣнки или лучше сказать критическаго изученія. Все остальное въ драмѣ или 1) *сдѣлано* болѣе или менѣе искусно, или 2) недодѣлано, или 3) представляетъ только задатки чего—то, намеки на что—то. Къ числу такихъ превосходныхъ задатковъ, такихъ удивительныхъ намековъ, принадлежитъ напримѣръ ожиданіе Ивана Грознаго и первое его появленіе, т. е. IV актъ.

Прежде всего, тотъ родъ исторической драмы, къ которому относится и «Псковитянка» Мея и его «Царская Невѣста», по нашему мнѣнію, совершенно ложный родъ. Это какая-то незаконная помѣсь исторически-громднаго съ выдуманнѣмъ, сравнительно-мизернѣмъ содержаніемъ: совершенно-неловкое перенесеніе въ драму приемовъ Вальтеръ Скоттовскаго романа. Ни одинъ истинный драматическій художникъ не грѣшенъ въ такой помѣси... Вы укажете намъ можетъ быть на Шиллера, который еще до Вальтера Скотта ввелъ любовь Макса и Теклы, событіе частное и выдуманное, въ исторически-міровую поэму о Валленштейнѣ, — на Гёте, который основалъ своего Эгмонта на пружинахъ почти что мѣщанской интриги, — на Гюго наконецъ, который какъ драматургъ все-таки чего же нибудь да стоитъ, вопреки «кавалерскимъ» отношеніямъ къ нему нашей критики?.. На это отвѣтить можно, по отношенію къ Шиллеру, что любовь Макса и Теклы у него не главная пружина

драмы, а одинъ изъ эпизодовъ огромной исторической картины, хоть эпизоду этому и придано въ поэмѣ значеніе нѣсколько во вредъ ея художественной гармоніи. Образецъ соблюденія художественной гармоніи въ эпизодахъ можно найти у самаго Шиллера въ его «Вильгельмъ Телль,» въ удивительной умѣренности эпизода частныхъ отношеній Руденца и Берты. Что касается до Гёте — то вольно же вамъ смотрѣть на Эгмонта какъ на историческую драму?.. Вѣдь не всякая драма, въ которой дѣйствуетъ историческое лицо — непременно историческая драма... О Викторѣ Гюго, ибо какъ ни велика бездна, отдѣляющая его въ художественномъ отношеніи отъ Гёте и Шиллера, а все-таки изъ драматурговъ только о немъ можно послѣ нихъ говорить, — о Викторѣ Гюго тоже надобно судить не какъ объ историческомъ драматургѣ, за исключеніемъ его «Кромвелля», замѣчательно-серьёзной, на половину гениальной, на половину фальшивой драматической этюды, да его

«Бургграфовъ», высоко–поэтической концепціи вполнѣ исторической картины, испорченной мелодраматическими пружинами. Все остальное у него — драмы психологическія, болѣе или менѣ замѣчательныя — а не историческія. Въ «Le roi s'amuse» — Францискъ I взять не какъ историческое лицо, а какъ типъ блестящаго, увлекательнаго и безсовѣстнаго челоуѣка, изъ самой высшей среды общества, въ противоположность обиженному природой и соціальнымъ положеніемъ уроду–шуту; въ «Машенькѣ де Лормъ» Ришелье можетъ быть удобно–замѣненъ какимъ хотите чиновнымъ лицомъ...

Но представьте вы огромный холстъ, натянутый видимымъ образомъ для картины съ грандіознымъ содержаніемъ. На этомъ холстѣ отдѣланъ центръ, и отдѣланъ явно великимъ мастеромъ... Вдали обрисована великолѣпная фигура, столь же важная какъ центръ картины, и связанная необходимо съ центромъ. Вниманіе ваше приковано къ центру и къ этой грандіозно–

обрисованной фигурѣ, а васъ живописецъ хочетъ насильно приковать къ эпизоду, видимо сочиненному — мѣстами искусно, а мѣстами даже вовсе не искусно, и насильно же приковываетъ къ этому эпизоду колоссальную фигуру, связанную въ сущности только съ центромъ картины.

Таково или почти таково впечатлѣніе отъ множества историческихъ драмъ, и отъ «Псковитянки» Л. Мея въ особенности. Для того, чтобы совершенно уяснить его для читателей, мы рѣшаемся разобрать всю драму въ подробности. Это можетъ быть будетъ и нелишнее для многихъ изъ нашихъ читателей — ибо, вѣроятно многіе изъ нихъ и не читали драмы Мея, о которой молчала наша критика. Въ «Свѣточѣ» явилась, правда, статья о «Псковитянкѣ», статья и умная и справедливая — но вѣдь во всѣхъ журналахъ только одна статья, да и та въ «Свѣточѣ», журналѣ еще молодомъ, еще только что возникшемъ. *Можетъ быть*, но не ручаемся, — г. Гымалэ что-нибудь сказалъ о «Псковитянкѣ» въ фельетонѣ «Спб. Вѣдомостей», но литературные

фельетоны этой почтенной газеты читаются только сотрудниками журналовъ — да и слава Богу, что ими только читаются.

Итакъ — прямо къ дѣлу, т. е. къ разбору «Псковитянки».

Дѣйствіе открывается во Псковѣ въ 1555 году. У боярина Ивана Семеновича Шелоги есть жена Вѣра Дмитриевна. Бояринъ въ походѣ; во время его отсутствія — жена родила дочь. Съ замираніемъ сердца ждетъ она мужа, стараго и ревниваго. У Вѣры Дмитриевны есть сестра Надежда, сговоренная за князя Юрія Ивановича Токмакова. Вѣра Дмитриевна наконецъ не вытерпѣла и рассказываетъ сестрѣ, какой грѣхъ съ ней приключился. Только что она рассказала и не успѣли онѣ обѣ придумать что-нибудь, слышенъ звукъ трубъ. Вѣра схватываетъ свою Оленьку. Сѣнная дверь растворяется, на порогѣ показывается бояринъ Шелога и князь Токмаковъ; оба въ кольчугахъ и шлемахъ.

ШЕЛОГА.

Здорово! Дорогихъ гостей не ждала?
(снимаетъ шлемъ и молится.)

ВѢРА

(бросается въ безпамятствѣ, между нимъ и
Токмаковымъ).

Пусти, пусти!

ШЕЛОГА

(заступаетъ ей
дорогу, смѣясь)

Аль мужа не признала?

Знать съ нѣмцами и самъ я нѣмцомъ
сталъ.

Здорово, Вѣра! дай поцѣловаться;

Кажися, годъ промаялись... (хочетъ ее
обнять)

ВѢРА

(отскакиваетъ отъ
него).

Не тронь,

Не тронь ребенка!

ШЕЛОГА

(крестится).

Наше мѣсто свято!

Ребенка? какъ ребенка? (дѣлаетъ шагъ
впередъ)

ВЪРА

(отбѣгаетъ къ окну).

Отойди!

Въ окошко кинусь!..

ШЕЛОГА.

Господи, помилуй!

Неужто я на смертный грѣхъ вернулся?

(возвышаетъ голосъ)

Жена!.. и чей пащенокъ этотъ?

НАДЕЖДА

(падаетъ на колѣни).

Мой!

Эта небольшая и какъ видите энергическая сцена, собственно—единственное драматическое мѣсто въ первомъ дѣйстви. Все остальное въ немъ или казенщина, написанная превосходнымъ языкомъ, какъ разговоръ Надежды съ нянькой Перфильевной, или лирическія мѣста, которыя хороши взятыя отдѣльно, но совершенно не драматичны, какъ рассказъ Вѣры Дмитриевны, даже неестественный въ ту напряжонную минуту, въ которую происходитъ дѣло. Казенщиной

называемъ мы совершенно ненужныя рѣчи няни Перфильевны, начиная отъ рѣчей о красотѣ обоихъ сестеръ, до рѣчей о князѣ Юріѣ Токмаковѣ, рѣчи совершенно «порожня» въ отношеніи къ драмѣ, ни къ какому дѣлу не ведущія, и въ сущности ничего не рисующія: ни быта, ни характеровъ. Все отличие этихъ «порожнихъ» рѣчей отъ другихъ столь же порожнихъ въ различныхъ историческихъ драмахъ александрынской сцены, заключается въ мастерскомъ русскомъ языкѣ... Граціозно–прелестная подробность, но столь же порожняя какъ и рѣчи няни Перфильевны, колыбельная пѣсня Вѣры Дмитриевны надъ Оленькою... Отдѣльно взятая, она такъ хороша, такъ свѣжа и наивна, что мы не можемъ ее не выписать:

Баю–баюшки баю.
Баю Оленьку мою...
Что на зорькѣ на зарѣ,
О весенней, о порѣ,
Птички Божіи поютъ,

Въ темномъ лѣсѣ гнѣзды
вьютъ.

Баю и т. д.

Соловейко–соловей!

Ты гнѣздо себѣ не вей,

Прилетай ты въ нашъ

садокъ,

Подъ высокій теремокъ.

Баю и т. д.

По кусточкамъ попорхать,

Спѣлыхъ ягодъ поклевать,

Солнцемъ крылышки

пригрѣть,

Олѣ пѣсенку пропѣть.

Мы не станемъ здѣсь входить въ
разбирательство, сколько и что именно
взялъ Мей здѣсь цѣликомъ изъ народной
колыбельной пѣсни, но дѣло въ томъ, что
онъ съ высокимъ поэтическимъ тактомъ
разработалъ народный текстъ...

Что касается до разказа Вѣры
Дмитріевны о приключившемся грѣхѣ —
разказъ рѣшительно фальшивъ въ
драматическомъ отношеніи. Во первыхъ

онъ ужасно длинень; во вторыхъ... но послушайте сами... Вѣра рассказываетъ что «шла она замужъ неволей, — но что мужъ въ ней души не чаялъ» и баловалъ какъ малаго ребенка. Пошолъ онъ въ походъ на нѣмцевъ... Дала она обѣтъ сходить къ Печерскимъ чудотворцамъ — и пошла «угодникамъ господнимъ поклониться...» Ты не была въ монастырѣ?.. обращается она къ сестрѣ, перерывая свой рассказъ. — Оборотъ по видимому очень естественный — но фальшива такая естественность въ такую минуту, когда ей хочется поскорѣй облегчить свою душу исповѣдью. «Въ Печерскомъ» — отвѣчаетъ Надежда

Нѣтъ не была...

ВѢРА

Туда дорога лѣсомъ,
А лѣсъ густой; березы да осины
Переплелися, спутались вѣтвями,
Какъ волоса, а молодой кустарникъ
Сплошнымъ плетнемъ раскинулся—
разросся

Продору нѣтъ...

Какая превосходная живопись, совершенно наша мѣстная, — но вѣдь это Л. А. Мей говоритъ, поэтъ говоритъ, а не преступница-жена, которой некогда вспоминать въ эту минуту о дорогѣ... Вдругъ, — продолжаетъ она

...Степанида мнѣ и говоритъ:

Боярыня, гляди-ка: подосинникъ,
Пойдемъ искать грибовъ.

НАДЕЖДА

Ты и пошла?

ВѢРА

Я и пошла... Давно ужъ это было,
А какъ теперь гляжу на этотъ лѣсъ...

и начинается превосходнѣйшее описаніе лѣса, отъ котораго такъ и пахнетъ нашимъ русскимъ лѣсомъ — но которое въ драматическомъ отношеніи, положительное безобразіе. Безобразія этого не выкупаютъ ни художественность изобрѣтенія, ни удивительное владѣнье народной рѣчью —

до такихъ *простыхъ* повидимому, но всякому другому крайне *мудреныхъ* тонкостей — какъ отмѣченныя нами курсивомъ слова... «Ты и пошла?.. Я и пошла»... Рѣчь совсѣмъ живая, поразительно народная повсюду, владѣнье красками нашей природы — страшное; но все это пропало задаромъ, все это не къ мѣсту. Если-бъ мы хотѣли даже сдѣлать натяжку, предположить въ поэтѣ излишество психологической тонкости, желаніе показать наглядно, какъ его героинѣ стыдно, трудно и больно доходить до настоящаго дѣла, высказать самую *суть* — и то подробности выйдутъ слишкомъ неумѣренны. За то, все дальнѣйшее въ разсказѣ, — превосходно... Истинно тонко и вѣрно, что Вѣра Дмитриевна, вмѣсто прямого разсказа о своемъ грѣхѣ — на слова Надежды: «Какъ ты жива осталась», и проч. отвѣчаетъ

Не страшень страхъ Надежа,
А страшень грѣхъ... Вотъ какъ любовь
змѣя

Подъ сердце ляжетъ, словно подъ
колоду,

Да высосетъ всю кровь изъ ретиваго,

Да какъ не то, что о грѣхъ молиться

А, кажется молилась бы грѣху...

Такъ тутъ вотъ плохо... Что твой лѣсъ
потемный.

Какъ это хорошо! — невольно скажешь,
читая это мѣсто до самаго слова
потемный — одного изъ архаизмовъ или
мѣстныхъ терминовъ, которыми иногда
любить щегольнуть Мей, злоупотребляя
своимъ знаніемъ языка... Какъ это
поэтично!.. подумаете вы, сказавши прежде
невольно: какъ это хорошо... Также точно
хороши своей таинственностью и
страстностью всѣ послѣдующія рѣчи Вѣры,
въ которыхъ и, «Онъ» — вы догадываетесь
конечно кто этотъ онъ — является
окруженный какимъ-то мрачнымъ,
зловѣщимъ и неотразимымъ обаяніемъ.

Очнулася я поздно,

Ужь въ сумерки... Въ какомъ-то я шатрѣ...

Гляжу: коверъ подостланъ подо мною,
А въ головахъ камчатная подушка,
И парчевой попоной я накрыта...
Кругомъ собаки лаютъ, кони ржутъ,
Народъ гуторить.

НАДЕЖДА.

Чтожь это такое?..

Бояре, чтоль охотилися?

ВЪБРА.

Онъ!

Приподняла я голову — подходитъ...

*Въ потмахъ лица не видно, только
очи*

Какъ уг оля въ жаровнѣ.. Говорить:

«Долгонько спалось, гостья дорогая!

А намъ бы вотъ навѣдаться: какъ гостья

Велить себя по имени назвать,

Какъ величать по отчеству?» *Самъ въ*

поясъ.

Я ни гугу: языкъ не шевелится...

А вижу то, что изъ бояръ бояринъ,

По рѣчи слышно: голосъ такъ и льется,

Что за осанка, что за ростъ и плечи.

Онъ мнѣ опять: «Мужевая жена,
Аль красная дѣвица — обзовися,
Мы до дому проводимъ». Я молчу.
Сверкнулъ глазами, отвернулся,
крикнулъ:
Князь Вяземскій! послать сюда
дѣвчонку!
И вышелъ вонъ...

Красота поразительная и красота совершенно народная въ этомъ образѣ!.. Сумрачныя и зловѣщія стороны лица грознаго Ивана удивительно слиты съ тѣмъ адски-юмористическимъ, что поражаетъ насъ въ его письмахъ, хоть бы къ старцамъ Кирилло-Бѣлозерскаго монастыря, которымъ тоже вѣдь онъ «самъ въ поясъ», какъ бѣдной жертвѣ своего сладострастія!.. И какой поэтической и поэтически-вѣрный задатокъ — личность этой женщины, которая въ немъ, мрачномъ, Грозномъ, съ разу увидала то, чего душа ея жаждала, сразу полюбила его такъ, что

...не то, что о грѣхъ молиться

А кажется молилась бы грѣху!..

Знаете ли что?.. Вѣдь это таже «Катерина» Грозы; только «Катерина», мгновенно мелькнувшая въ фантазіи поэта лирика, да такъ и промелькнувшая задаромъ... Лирическая концепція, пожалуй даже въ одномъ отношеніи и шире драматической концепціи Островскаго. Катеринѣ «Грозы» недостаетъ для того, чтобы совсѣмъ быть правой, только именно такого образа, какой увлекъ въ грѣхъ Вѣру Дмитріевну... да что толку въ широтѣ лирической концепціи?.. Она только дразнить васъ... понапрасну, нисколько не удовлетворяя...

Мрачно–зловѣщій и ироническій ликъ Грознаго, двѣ страстныхъ женскихъ натуры, изъ которыхъ одна «молится грѣху», другая на ея страстные рассказы говорить:

Вѣра! знаешь ли ты?

ВѢРА.

Что?

НАДЕЖДА.

И я бы также полюбила...

и потомъ, по внезапно, по трагически–страшно созрѣвшему въ душѣ, безъ всякаго участія рефлексіи, порыву, на вопросъ возвратившагося домовладыки, вопросъ грозный, вопросъ, въ которомъ лежитъ жизнь или смерть: Жена! а чей пащенокъ этотъ?.. отвѣчаетъ: «Мой»!.. вотъ все что вы выносите изъ пролога драмы...

Вы думаете, что одна изъ этихъ женщинъ и будетъ героинею драмы, а пожалуй и обѣ... Разочаруйтесь! надъ героиней еще распѣвалъ только «соловейко–соловей!».. героиня еще въ пеленкахъ... И это бы еще не бѣда, что она въ пеленкахъ; мы слава Богу давно забыли жалобы Буало на драматурговъ, у которыхъ герой

Enfant au premier acte est barbon au dernier...

Бѣда въ томъ, что поэтъ нашъ лирикъ, что онъ какъ «соловейко–соловей» не

вьеть себѣ гнѣзда, что ему дорога только лирическая сторона его концепціи... Бѣда еще въ томъ, что ему, какъ всякому лирику, трудно и невозможно даже удержаться постоянно на одинаковой высотѣ лиризма, и что онъ часто падаетъ въ рутину, въ родѣ разговоровъ Перфильевны или въ «порожнія», хотя и прекрасныя рѣчи... А ни того, ни другого, ни рутины, ни порожнихъ рѣчей въ драмѣ не должно быть...

Дѣйствіе второе происходитъ черезъ пятнадцать лѣтъ. Колыбельная героиня выросла и бѣгаетъ въ горѣлки съ подругами, въ саду своего названого батюшки, князя Юрія Токмакова, намѣстника царскаго въ вольномъ городѣ Псковѣ... Дѣйствіе начинается тремя страницами прекрасныхъ, но совершенно «порожнихъ» подробностей, по видимому очень естественныхъ, какъ разговоры про ягоды, но какъ-то, не смотря на превосходную народную рѣчь, пошло и рутинно-естественныхъ... Странное дѣло! Вѣдь кажется и Островскій вводитъ и

народныя игры цѣликомъ, и разговоры посторонніе, не прямо къ драмѣ относящіеся въ свои драмы, но отъ чего же естественность у него не рутинна а типична, какъ старухи, боящіяся темныхъ ночей и лихихъ собакъ, мѣрно какъ глиняныя кошки, качающія подъ пѣсни головами въ «Бѣдность не порокъ» и ямщики уговаривающіеся, чтобы «промежъ собой не галдить» въ «Не такъ живи какъ хочется» и обыватели дивнаго города съ «жестокими» нравами, собравшіеся на соборной паперти и разсуждающіе, что «эта Литва — она къ намъ съ неба упала»... Оттого, что все это у него не лирическія концепціи, а фонъ его драматическихъ картинъ, самая жизнь, самая правда... Тутъ же по видимому всѣ концепціи, какъ концепціи, хороши, должны бы казаться по идеѣ поэта рисовать быть, даже по видимому совершенно естественны, а между тѣмъ въ сущности только «порожня» рѣчи... или даже рутинна, сочиненіе...

Увы! «гнѣзда себѣ не свиль» въ мелькнувшей передъ нимъ жизни, нашъ

«соловейко—соловей»... Онъ увлекся только поэтическими идеями. Какъ доходить дѣло до того, что ему дѣйствительно дорого, онъ поднимается на высоту часто удивительную; гдѣ же приходится ему сочинять, увы! тамъ рутина, не выкупаемая ни мастерскою рѣчью, ни даже пѣснями въ родѣ: «По малину я ходила молода»... Передъ вами нѣтъ живыхъ лицъ и живой жизни: вмѣсто нихъ фигуры съ ярлыками на лбу. Вотъ вамъ Стеша Машута, долженствующая представлять собою удалую женскую натуру и подъ пару ей удалецъ Четвертка; вотъ вамъ мамки и няньки, ничѣмъ одна отъ другой не отличающіяся, хоть и говорящія языкомъ безукоризненно—народнымъ, языкомъ—золотомъ.

Но какъ только, повторяемъ, доходить дѣло до того, что поэту въ его драмѣ дѣйствительно дорого, чего онъ не сочинялъ, а чѣмъ онъ вдохновился, въ немъ является сила истиннаго творчества... Промежду этихъ порожнихъ рѣчей

раздаются зловѣщія вѣсти о царѣ Иванѣ,
что онъ

На Новгородъ прогнѣваться
изволилъ,
Пришоль со всей опричиной...

Что онъ:

Казнить по всѣмъ концамъ и по
посадамъ,
И стараго и малаго, кто виненъ,
А кто и не виновенъ, безъ разбора,
Безъ жалости, безъ милости
казнить...

Пригналъ оттуда къ князю спѣшный
вершникъ:

«Стонъ стономъ князь, по городу
стоять,

На Волховѣ, пониже моста съ версту
Набило тѣль — такая-то плотина,
Что полою водою не размочетъ...
Три тысячи, никакъ, онъ говорилъ,
На площади казнено было за день,

А что ужь тамъ, по пригородамъ,
селамаъ,
Монастырямаъ... Охъ, Господи,
помилуй
Насъ грѣшныхъ...

и когда старуха Власьевна, начинаетъ сказку про лютаго змѣя Тугарина, вы чувствуете, что эта по видимому совершенно эпизодическая подробность — эта сказка здѣсь не порожня рѣчь, что отъ этой сказки вѣтъ чѣмъ-то грозно-трагическимъ, что вѣтъ тѣмъ же идущимъ вдали Иваномъ, и чувствуете вмѣстѣ съ тѣмъ, что это не эффектъ, сочиненный поэтомъ, что это далось по вдохновенію, что тутъ и въ концепціи и въ самомъ выполненіи, самая истинная правда и самая грандіозная поэзія, не говоря уже о техническомъ совершенствѣ выполненія, совершенствѣ до полного и между тѣмъ совершенно свободнаго отождествленія съ народной сказкою, до *хозяйскаго* распоряженія народной рѣчью:

Починается сказка,
Приговоромъ да присказкой,
Тихимъ пошептомъ, частымъ
прѣчитомъ;

Починается сказка,
Что отъ синяго моря Хвалынскаго,
Отъ семи рѣкъ восточныхъ,
Отъ семи звѣздъ закатныхъ,
Отъ семи горъ великихъ
полуночныхъ.

Ой, на морѣ–мори
Погасають зори
За поморскою Камень–горою
поднебесною,

За янтарнымъ узорочнымъ теремомъ:
На небѣ темно, въ теремѣ звѣзды;
На небѣ звѣзды, въ теремѣ мѣсяць;
На небѣ солнце — въ теремѣ ночь
непроглядная...

Зачурованъ тотъ теремъ съ покльнѣ–
вѣковѣ

И положенъ зарокъ на немъ изстари
На три сотни головъ богатырскихъ,
А младшихъ людей на три тысячи,
Гдѣ онъ сталь, та земля поизвѣдана;

Путь дорога къ нему неповѣдана,
И залегъ ту дорогу Тугаринъ злой.
Пасть у змѣя, чтъ печь раскаленная,
Лапы словно дубы трехъохватные,
Крылья мѣдныя, когти булатные,
Хвостъ на семдесятъ сажень
волочится,
Русскій духъ слышитъ змѣй ровно за
семь верстъ,
Убиваетъ людей ровно за версту,
Убиваетъ собака ничѣмъ другимъ,
Какъ разбойничьимъ громкимъ
посвистомъ:
Зашипитъ онъ — деревья шатаются,
Ко сырой мать землѣ преклоняются...
А какъ свиснетъ...

Боже! какую рутинною пошлостью перерывается это грандіозно–народное трагическое, пошлостью, достойною драмъ Полевого, пошлостью, отъ которой больно и стыдно сочувствующему читателю за большое дарованіе Л. Мея... За сосѣднимъ заборомъ, изволите видѣть, раздается рѣзкій свистъ, дѣвушки вскрикиваютъ...

Этот водевильный эффект — свисть посадничьяго сына Четвертки, удальца и сорви-головы...

Но мы забыли рассказать вамъ содержаніе второго акта. Колыбельная героиня Ольга выросла, и какъ «слѣдственно» влюблена. Влюблена она въ сына посадничьяго, Михайла Тучу; названный же отецъ ея, князь Токмаковъ, почти-что сосваталъ уже ее за пожилого боярина Машуту. У Машуты есть дочь, Стеша, нѣчто въ родѣ «Варвары» въ Грозѣ: она любитъ, на-сколько можетъ любить ея размашистая натура, другого сына посадничьяго Четвертку... Личности Стеши и Четвертки очеркиваются очень хорошо поэтомъ въ сценѣ ихъ свиданія, равно какъ и ихъ отношенія; у Стеши и у Четвертки языкъ даже колоритный и способъ чувствованія оригинальный.

СТЕША МАШУТА

(подходить къ забору).

Четвертка, ты?

ЧЕТВЕРТКА

(за заборомъ).

Все я же, Степанида

*Никитична! (показывает голову
изъ-за забора).*

Позволишь перелѣзть?

СТЕША.

*Вотъ я тебѣ позволю! Здѣсь
Михайло*

Андреичъ?

ЧЕТВЕРТКА.

Туча? У меня на лавкѣ

Сидить, повѣся голову.

СТЕША.

Скажи,

Чтобы сюда пришоль и дожидался.

ЧЕТВЕРТКА.

А я-то чтожъ, Терпиг оревъ.

СТЕША.

А ты

Проваливай!

ЧЕТВЕРТКА.

Благодаримъ покорно...

Личность Стеши также хорошо и бойко обрисована еще прежде нѣсколькими штрихами — ея допросами, которые она дѣлаетъ Ольгѣ, стремительною радостью, когда она узнаетъ, что та любитъ «не дьявола Четвертку» и дорисована необыкновенно смѣло въ четвертомъ актѣ...

Странное дѣло! отъ чего эти двѣ личности — Стеша и Четвертка удались Мею, хоть онъ по видимому не заботился много объ ихъ отработкѣ и такъ положительно не удались ему серьёзныя отношенія Ольги и Тучи — ему, который однако лирически видитъ дѣло русской любви до той ея грани, что

не то что о грѣхѣ молиться
А кажется молилась бы грѣху...

Странное дѣло, но для объясненія его вовсе не нужно прибѣгать къ тому, что типъ удамой, разгульной любви болѣе у насъ выработанъ, чѣмъ типъ любви сосредоточенной, трагической или элегической... У Островскаго же вѣдь

одинаково хороши (за исключением двух–трех мѣстами еще проскользающих рутинныхъ выражений «романтически–народной эпохи», въ родѣ — заложу я саночки–самокаточки и проч.), серьёзные отношенія Мити и Любы и «гулевыя отношенія» Анны Ивановны и Гуслина въ «Бѣдность не порокъ», не говоримъ уже о глубоко–трагической любви Катерины въ «Грозѣ»... У Мея же сцена свиданія Ольги съ Михайломъ Тучею вся состоитъ изъ такъ называемыхъ «башлыковъ.»

Но вы не знаете конечно, что такое *башлыки*? У насъ есть одинъ пріятель, безпощаднѣйшій комикъ по натурѣ и притомъ, что особенно дорого — народный комикъ. Все мало–мальски фальшивое, напряжонное, сочиненное въ выраженіи и чувствахъ, онъ казнить прозвищемъ «башлыковъ» въ память героя блаженной памяти «Двумужницы» (вещи впрочемъ въ свое время замѣчательной и стоившей всей «романтически–народной» эпохи за исключениемъ Лажечникова), Егора

Башлыка. Въ «Двумужницѣ» «башлыки несутъ» и самъ Башлыкъ и Романъ Боберъ и даже Ѳаддей Дятель... Увы! такіе же «башлыки» несутъ у Мея Ольга и Михайло Туча...

И это странное обиліе «башлыковъ» у Мея, одного изъ самыхъ большихъ знатоковъ народнаго созерцанія, чувства, языка, объясняется просто тѣмъ, что онъ «сочинилъ» а не создалъ отношеніе Ольги и Михайла Тучи. Для чего онъ ихъ сочинялъ — Богу единому извѣстно... Драма въ нихъ не нуждалась, тѣмъ болѣе, что къ драмѣ о Псковѣ и Иванѣ, Ольга привязана болѣе глубокою пружиною, и въ этой пружинѣ, въ таинственной, для нея самой—необъяснимой любви къ Грозному, страшному для всѣхъ другихъ Ивану, видѣнъ такой высокій поэтическій тактъ, данъ такой истинно—драматическій намекъ, что все сочиненное въ драмѣ становится еще болѣе виднымъ и всѣ «башлыки» еще омерзительнѣе.

Въ сущности и Ольга, какъ представительница симпатіи къ

трагическому образу Грозного, была не нужна въ драмѣ, а нужны были мать ея и тетка, но ужь если она поставлена въ драму, то поставлена въ нее этою, а не другою какой-либо стороною, ибо только въ этой сторонѣ заключается такое трагическое, которое подь пару «Пскову государю» и грозному змѣю-тугарину, заложившему всѣ дороги проѣзжія... Всѣ остальные отношенія мелки, и могли войти въ драму только слегка, какъ краски картины, какъ ея бытовой фонъ и притомъ, не касаясь ни Ивана, ни Ольги. *Какъ* именно должны и могли они войти, объ этомъ вы насъ не спрашивайте. Мы пишемъ критику, а не драму, отмѣчаемъ чего не должно было бы быть, но не возьмемъ на себя дерзость учить Л. Мея, *какъ* должно быть.

Князь Юрій и бояринъ Машута выходятъ въ садъ гулять и чуть не застаютъ *влюбленной* четы. Разговоръ ихъ перерываетъ то, что одно могло какъ художественный эффектъ, перервать

разсказъ о Змѣѣ Тугаринѣ, перерываетъ звонъ вѣчевого колокола...

Прежде чѣмъ мы пойдѣмъ съ ними на вѣче, мы вправѣ представить слѣдующую дилемму читателямъ, дилемму, изъ которой, кажется намъ, прямо вытекаетъ заключеніе о фальши переноса романическихъ приѣмовъ Вальтера–Скотта въ драму.

1) Или передъ нами семейная драма, и намъ нечего ходить съ поэтомъ на вѣче, а пусть онъ намъ передастъ черезъ кого–нибудь изъ своихъ лицъ свѣденія о томъ, чѣмъ и какъ общее событіе коснулось частнаго, т. е. вѣче — семейной драмы.

2) Или передъ нами историческая драма, и вѣче въ ней ея истинное средоточіе, и въ такомъ случаѣ зачѣмъ же онъ насъ томилъ частными подробностями, стараясь хотя и тщетно заинтересовать ими, зачѣмъ онъ напряженно сочинялъ рутинныя отношенія и такъ щедро угощалъ насъ «порожними» рѣчами и даже «башлыками»? За что мы выносили эти «башлыки» и эти «порожнія» рѣчи?..

Но дѣло очевидное, и слава Богу, что поэтическая концепція Л. Мея, правда и красота его драмы не въ этихъ рутинныхъ отношеніяхъ, а въ Псковѣ и Иванѣ. Вѣче даже и не фонъ, а истинное средоточіе картины... Это средоточіе и фигура Грознаго, пока она еще обвита туманомъ, пока является намъ какъ нѣчто фантастическое, писаны однимъ изъ великихъ мастеровъ исторической живописи, и притомъ не лирикомъ, а уже чистымъ драматургомъ.

Мы были безпощадны ко всему сочиненному и недодѣланному въ драмѣ Л. Мея, но мы будемъ только что справедливы, когда скажемъ, что весь третій актъ и весь четвертый, возбуждаютъ чувство довольно рѣдкое въ наше время, — удивленіе, а по временамъ чувство еще болѣе рѣдкое: художественный восторгъ и широтой концепціи и глубокою, спокойною, безукоризненно-чистою правдою выполненія. Псковское вѣче, ожиданіе Грознаго Ивана, входъ его въ домъ князя Токмакова, все это останется на вѣки въ

русской литературѣ, ибо изваяно мѣдными чертами и рукою мастера, какихъ немного.

Разбирать третій актъ, значить выписывать почти все; ограничиться общими о немъ словами, будетъ вредно и для статьи нашей и для драмы. Постараемся найти средній путь — путь разъясненія и разсужденія.

Спросить читателей, знаютъ ли они чтъ такое наши вѣча вообще, набатъ которыхъ неумолчно гудитъ не въ одномъ только государѣ великомъ Новѣгородѣ и въ братѣ его младшемъ Псковѣ и во всѣхъ городахъ и пригородахъ до-татарской Руси, — гудитъ а во время татаръ не только въ Твери, въ самой Москвѣ до казни послѣдняго тысяцкаго, — гудитъ наконецъ уединенно въ Новѣгородѣ и Псковѣ, въ Новѣгородѣ, пока не свезли вѣчевой колоколь въ Москву и не повѣсили гудѣть съ остальными московскими колоколами въ одинъ тонъ; дозваниваетъ въ Псковѣ до самага Грознаго; беспорядочнымъ и мятежнымъ набатомъ пробуждается въ эпоху междуцарствія и торжественно сзываетъ

всю землю на охрану и оборону земли въ Новгородѣ Нижнемъ, спрашивать, — говоримъ мы объ этомъ читателей въ наше время, будетъ читателямъ обидно...

Большія силы таланта нужно было въ себѣ чувствовать, принимаясь за изображеніе этого вѣча. Изобразить его фальшиво и эффектно, пожалуй легко, но такое изображеніе польстило бы можетъ быть той или другой изъ нашихъ историческихъ теорій, пошевелило бы воображеніе и умъ поборниковъ доктринъ, но какъ фальшивое, имѣло бы въ художественномъ отношеніи значеніе не больше пошлыхъ историческихъ драмъ «романтически-народной» эпохи... Трезвую любовь къ нашему быту нужно было имѣть для такого изображенія, какое предпринялъ нашъ поэтъ, глубину и вмѣстѣ народную простоту взгляда, кромѣ таланта.

Прежде всего кидается въ глаза то, что болѣе пятнадцати фигуръ введено въ дѣйствіе изъ народа, кромѣ главныхъ лицъ драмы, и что каждая изъ этихъ фигуръ носить яркій, личный отпечатокъ и **Федось**

Гоболя, Медосось Оедось и Колтырь Раковъ и Дмитръ Патрикѣичъ и гонецъ Юшко Велебинъ и Ивашко Тьргоша и проч. и проч. Вы ихъ всѣхъ видите — всѣ они необходимы, всѣ они рождены съ плотью и кровью, а не сочинены авторомъ. Въ тонѣ красокъ картины такая жизненная многосторонность — то юморъ народный, то обрядовая сторона уваженія къ дѣйствию «по пошлинѣ», по чину, то патриархальность, то общинный духъ; такая объективная умѣренность, совершенно русская въ трагизмѣ, и вмѣстѣ въ цѣломъ такое сосредоточенное движеніе, что впечатлѣніе вполнѣ сильно и цѣльно. Ни одной черты лишней вы <далее пропуск> водъ къ лишнимъ чертамъ, къ неумѣренности движенія, былъ бы для всякаго другого, менѣе трезваго во взглядѣ художника, на каждомъ шагу. Въ Меѣ, станетъ вездѣ высокой энергіи жертвовать всѣми эффектами правдѣ и смыслу нашего вѣча.

Сначала собираются очередные концовъ и народъ. Рѣчи ихъ вполнѣ живыя,

пересыпанныя юмористическими
выходками, которыя никогда, ни въ какую
даже общественно–трагическую минуту не
покидаютъ русскаго человѣка. Ловкія и
мѣткія прозвища сыплются то тому, то
другому изъ очередныхъ; прозвища,
полныя какого–то размашистаго и вмѣстѣ
наивнаго и любовнаго юмора, то

Өедось Гоболя, дѣдка–домосѣдка!
Воловій крѣстный! Медосось Өедось!

то

Кльлтырь Раковъ...
И то вѣдь онъ...
Давай его сюда!
Куда уползъ
Хватай его за клешни
Ракушку!

И вотъ сотскій Дмитро Патрикѣевичъ
обращается къ жизненно–движущемуся
морю государей псковичей, со спросомъ:
быть сходкѣ иль не надо?..

Быть сходкѣ! быть на всей на
Псковской волѣ...

кричить тысячеглавое дитя.

И выступает первый — тотъ, кто
созвонилъ вѣче, гонецъ Велебинъ Юшко,
съ невеселою рѣчью: отъ старшого брата,
Новгорода великаго:

Поклонъ и слово Новгорода: Братья
Молодшая, всѣ мужи псковичи!
Вамъ кланялся де Новгородъ великій,
Чтобъ помогли вы супротивъ Москвы,
И вы—де брату вашему старшльму
Не дали помочь ниже никакую
И цѣлованье крестное забыли;
Ино на то вся ваша власть и воля
И помози вамъ Троица святая,
А братъ де вашъ старшльй
открасовался
И наказалъ вамъ долго жить да
править
По немъ поминки.

Не нужно даже знать нашихъ лѣтописей, а нужно быть русскимъ человѣкомъ, чтобы оцѣнить по достоинству эту рѣчь, полную величаво–спокойнаго горя, мирныхъ упрековъ, горькаго фатализма и сдавленныхъ рыданій по великомъ покойникѣ.

Вы ждете взрыва рыданій въ толпѣ... Они и есть, но тихія... Раздается правда чей–то голосъ зловѣщій и упрекающій:

Прійдетъ конецъ и Пскову!
И по дѣломъ: сидѣли склавши руки,
Чужой бѣдѣ порадовались...

Но на этотъ голосъ слышится:

Тише!
Пуцай гонецъ все скажетъ...

Все! чего же еще вамъ надо, государи псковичи, вы уже слышали, что братъ вашъ старшой открасовался.

**Вторгается молодая вольница псковская,
и враждебно относится къ нимъ толпа:**

**Ну! привалили!
Вольница!
Буяны!..**

Толпа слушаетъ до конца разсказъ Юшки Велебина о неистовствахъ въ Новѣгородѣ, и только проклятiя опричинѣ кромѣшной раздаются въ ней, да Ѳедось, «воловій крѣстный» высказываетъ сомнѣніе въ достовѣрности неистовствъ надъ неповинными младенцами, да и не въ одномъ Ѳедосѣ, въ царскомъ намѣстникѣ, благодушномъ и благородномъ князѣ Юріѣ Токмаковѣ возбуждаетъ уже не сомнѣніе а вопль подробный разсказъ гонца... Кончилъ гонецъ словами:

**Царь на Городищѣ
Всѣмъ станомъ сталь, и это безъ него
Опричники злодѣйствуютъ...**

И взрывъ въ толпѣ, взрывъ бурный,
поднятый словами Ѳедоса... Взрывъ
растетъ, растетъ какъ морскія валы... Все
поднялось на общее вооруженье... Въ
Петровскія ворота въѣзжаютъ на
взмыленной тройкѣ, гость псковской
Семень Бороусовъ, съ словами:

Бѣда!.. бѣда намъ, мужи–псковичи!
На Псковъ идутъ!..

Еще какіе гости?

Литва?

Шальные нѣмцы?

Самъ идетъ!

и стихъ взрывъ, и слышно только:

Пропали!

Пропали мы!

Идѣть!

Идѣть изгономъ!

Охъ, батюшки, ворота завалите!

Посады жечь?

Добро–то гдѣ намъ спрятать?

Дѣтей–то малыхъ съ жонами куда?..

Страшный, горькій и беспощадный трагизмъ этой сцены, ясенъ вѣроятно для всякаго и безъ нашихъ толкованій. Понятно вѣроятно и то, почему появленіе молодой псковской партіи на вѣче встрѣчено было бранью и враждой...

И всходитъ на вѣчевое мѣсто степенный посадникъ, князь намѣстникъ Юрій Токмаковъ, честный, доблестный псковичъ и вмѣстѣ честный, вѣрный слуга земскаго единства — Москвы. Миротворна рѣчь его, и заключаетъ онъ ее тѣмъ, что нечего Пскову бояться, что царь Иванъ Васильичъ

Какъ сѣлъ на мѣсто царское свое
Печаловался Псковомъ, да и нонѣ
Жалѣеть Псковъ...

Насмѣшливыя слова раздаются въ молодой вольницѣ, сомнѣніе слышно въ рѣчахъ толпы, но князя Юрія слушаетъ народъ, потому что князь Юрій точно добра желаетъ осударямъ псковичамъ, не хочетъ «наказывать» государю Пскову, явно

отрицается отъ сообщества съ переметчикомъ и холопомъ, бояриномъ Машутою.

Слушала князя и вольница псковская, но не вытерпѣла она, когда на его честныя и любовныя рѣчи сказалъ: аминь! переметчикъ Машута. Вспыхнула вольница въ лицѣ удалого Четвертки, который не пощадилъ въ переметчикѣ отца своей Стеши, но община уняла частный порывъ, община зоветъ и молодыхъ сказать слово въ лицѣ сына посадничьяго Михайла Тучи...

А Михайло Туча «по старинѣ и по пошинѣ» самъ отдаетъ первенство рѣчи старшему бывшему посаднику степенному, Максиму Иларіоновичу.

Разступается все передъ старшимъ. Князь Юрій встаетъ съ вѣчевой ступени, снимаетъ шапку и взводитъ Максима Иларіоновича на мѣсто. Слушайте, слушайте! Столѣтній разумъ будетъ говорить устами Максима Иларіоновича... Драма дошла до своего апогея, до разъясненія своего смысла...

**И вотъ что говорить старый степенный
посадникъ, Максимъ Иларіоновичъ:**

**Не чаяль я, отцы мои и братья,
Что мнѣ еще придется молвить слово,
Съ великимъ Псковомъ, осударемъ
нашимъ,**

**А Богъ привель подъ старость... не
взыщите,**

**Коль въ чемъ и какъ, не помнящій,
промолвлюсь...**

**Такъ начинается онъ по «старинѣ и по
пошлинѣ» и такъ же «по старинѣ и по
пошлинѣ» отвѣчаютъ ему осудари псковичи
въ лицѣ Гоболи:**

Ты говори, а мы ужъ подберемъ...

**Слова — что жемчугъ: если
закатились**

**Въ какую щолку — лучше половицу
Аль двѣ поднять, чѣмъ потерять
добро...**

Какая поэтическая грандиозность въ картинѣ, но грандиозность самая исчезаетъ передъ глубоко-трагическою ея правдою, передъ ея страшнымъ смысломъ... Вотъ что говорить «осударямъ псковичамъ» столѣтній разумъ:

Прослышалъ я про нашу про невзгоду...

Знать Богъ велѣлъ... *а супротивъ велѣнья*

Господняго никто не возмоги!..

Вотъ мнѣ теперь девятый ужъ десятокъ,

Видалъ я волю — красною двѣицей,

Видалъ ее — старухой безпомощной

И самъ отнесъ покойницу въ могилу...

Ну! было время и не въ вашу версту

И потягаться было бы кому

Съ Москвой... да нѣтъ! *умнѣе были дѣды,*

Аль Псковъ — отъ былъ имъ словно по дорожке,

Покльры будто слыхомъ не слыхали,

Обиды будто видомъ не видали,
Какія слезы къ горлу подступили,
Такъ отогнали къ сердцу пивомъ,
мёдомъ...

*И веселились... Чтожь не
веселитесь*

По дядовски?

Великій князь Василій

*И колоколь корсунскій снятъ вельль
И вѣче рушилъ... Какъ у насъ тогда
Не вытали зѣнцы со слезами
И Богу вѣсть... А все же веселились,
А все же Псковъ великій сберегли,
Любили Псковъ побольше внуковъ
дѣды...*

А я сказалъ...

Кто хочетъ мнѣ перечить

*Тотъ видно молодъ и Москвы не
знаетъ*

Не то свое — чужое на счету:

*Все вывѣрять, да вывѣситъ, да
сметитъ*

*Да и возьметъ — поди ты съ ней,
судися*

*Въ великій день, передъ судомъ
Христовымъ!*

И то сказать: въ мое то время были
Цари въ Москвѣ, да только что
царями

Въ Москвѣ звались, а нынѣ царь
московскій

На всѣ страны и на народы царь.

Тяжка рука да и душа—потемки

У Грознаго... *Проститеся съ*

Псковомъ,

*Хорошій будетъ приг ородъ
московскій*

И слава Богу.

Что это такое? Злое ли горе, ядовитая ли иронія, покорность ли судьбѣ? Ни то, ни другое, ни третье, и вмѣстѣ и то и другое и третье, и горе до ужасающей оледенѣлости причитанья по невозвратномъ покойникѣ, и иронія до наивности юмора, и покорность року до фатализма, все же вмѣстѣ, нѣчто такое трагическое въ своемъ ледяномъ спокойствіи, нѣчто столь глубоко—схваченное въ нашей сущности и быту, что

дается съ такимъ техническимъ совершенствомъ только великимъ мастерамъ искусства,.. что стоитъ конечно десяти «Обломовыхъ», помноженныхъ на десять же «Горькихъ Судьбинъ», что стоитъ наряду съ лучшими сценами «Бориса» и съ бытовыми сценами драмъ Островскаго.

Драма достигла, повторяемъ — въ этой рѣчи до своего апогея. Дальше ея общему движенію идти некуда. Въ рѣчи старика сказался весь смыслъ вѣча, но осталось еще частное движеніе, движеніе молодыхъ людей, и какъ могущественно схвачено оно поэтомъ, какъ оно уноситъ васъ съ вольницею подъ сибирскій камень, въ ея безсмысленное, но удалое дѣло, въ ея отчаянную гибель... Какъ хороша въ другомъ совершенно родѣ рѣчь Михайла Тучи и его прощанье съ Псковомъ— осударемъ, за которымъ слѣдуютъ взрывъ толпы и прощанье съ Псковомъ его сторонниковъ, идущихъ съ нимъ на бесполезную, но честную гибель съ удалою прощальною пѣснью!..

Не явное ли дѣло, что «псковское вѣче» центръ драмы Л. Мея — и что если бы все остальное въ драмѣ соотвѣтствовало этому центру, мы имѣли бы въ Меѣ однимъ большимъ поэтомъ болѣе или ужь по крайней мѣрѣ, однимъ великимъ поэтическимъ произведеніемъ болѣе...

Правдѣ и художественной красотѣ изображенія вѣча, вполне соотвѣтствуетъ очеркъ ожидаемаго Ивана, т. е. весь IV актъ. Никогда еще и никѣмъ Иванъ, съ его внѣшней, полуфантастической стороны, съ той стороны съ которой является онъ въ памяти народа и лѣтописныхъ сказаніяхъ, не былъ изображонъ съ такою художественною мощью... Ожиданіе его, первое появленіе, при вопляхъ о пощадѣ лежащагося головами народа, входъ въ домъ князя Токмакова, беспощадно—злая иронія въ отношеніи къ лежащимъ передъ нимъ во прахѣ осударямъ—псковичамъ, грозная его справедливость, любострастіе, выразившееся въ отношеніи къ смѣлой Стешѣ, — самая нѣжность къ дочери, — глубокая набожность и тишина волкана,

который того и гляди что прорвется лавой... все это черты мѣдныя, черты мастера.

Но увы! Иванъ, какъ все фантастическое, только и хорошъ пока онъ вдали или пока является, предшествуемый лихорадочнымъ настроивомъ. Грозный V-го акта, разсуждающій по г. Соловьеву, не смотря на все глубокое изученіе его образа поэтомъ; не смотря на мастерство языка и эффекты подробностей — лицо столь же сдѣланное, какъ Грозный ожидаемый и Грозный IV-го акта, лицо вполне живое и поэтическое...

Вотъ все что мы хотѣли высказать по поводу «Псковитянки» Л. Мея. Выводъ изъ нашихъ замѣтокъ, вполне искреннихъ какъ въ порицаніи, такъ и въ удивленіи, предоставляемъ самимъ читателямъ.

Надѣмся только, что читая эти искреннія замѣтки, они также какъ мы спросятъ съ недоумѣніемъ: чѣмъ же столь серьезнымъ занята наша критика, чтобы молчать о такихъ явленіяхъ, какъ драма, со всѣми своими недостатками, захватывающая однако необычайно-широко

существеннѣйшіе вопросы нашего народного быта? Можетъ быть еще, они съ такимъ же недоумѣніемъ спросятъ — почему на нашихъ литературныхъ утрахъ и вечерахъ, никто не познакомилъ публику, въ отрывкахъ, съ замѣчательнымъ произведеніемъ даровитаго поэта?.. Почему наконецъ, наши славянофилы не отозвались нигдѣ объ этомъ явленіи, прямо подлежащемъ разсмотрѣнію ихъ, монополистовъ народной исторіи и народного быта?..

Почему?.. Увы! на многія: «почему?» не найдешья совсѣмъ что отвѣтить, — а чтобъ отвѣчать на другія, надобно поднимать дѣло съ яиць Леды.

Мы поставили себѣ обязанностью, по крайней мѣрѣ хотъ заявлять многіе необъяснимые факты.

О самомъ Л. Меѣ, значеніи и свойствахъ его таланта намъ еще прійдется говорить, и можетъ быть скоро. Покамѣсть, мы отдали отчетъ объ его «Псковитянкѣ», и думаемъ, что искренняго, не теоретическаго отчета объ этомъ произведеніи достаточно для

опроверженія мнѣнія, единственнаго, какое когда-либо о Л. Меѣ высказалось въ нашей литературѣ — что у поэта нашего талантъ чисто внѣшній. Съ однимъ внѣшнимъ талантомъ поэтъ не могъ бы написать многого, тѣмъ болѣе третьяго и четвертаго акта «Псковитянки.»
